А. И. МИКОЯН

Так было

Глава 47
Борьба за власть после смерти Сталина

<...> После смерти Сталина разногласия в коллективном руководстве обнаружились по вопросу о ГДР. Берия, видимо сговорившись с Маленковым предварительно, до заседания (я так понял потому, что на заседании тот не возражал Берии и вообще молчал), высказал в отношении ГДР неправильную мысль, вроде того, что-де «нам не следует цепляться за ГДР: какой там социализм можно построить?» и прочее. По сути, речь шла о том, чтобы согласиться на поглощение ГДР Западной Германией.

Первым против этого предложения выступил Хрущев, доказывая, что мы должны отстоять ГДР и никому не отдавать ее, что бы ни случилось. Молотов высказался в том же духе. Третьим так же выступил я, затем другие. Поддержал нас и Булганин. Берия и Маленков остались в меньшинстве. Это, конечно, стало большим ударом по их авторитету и доказательством того, что они не пользуются абсолютным влиянием. Они претендовали на ведущую роль в Президиуме, и вдруг такое поражение! Позднее я узнал от Хрущева, что Берия по телефону грозил Булганину, что если тот будет так себя вести, то может потерять пост министра обороны. Это, конечно, произвело на меня крайне отрицательное впечатление.

Вторым спорным вопросом стало повышение заготовительных цен на картофель в целях поощрения колхозников в производстве и продаже колхозами картофеля. Цены были тогда невероятно низкими.

Они едва покрывали расходы по доставке картофеля с поля до пункта сдачи. Горячо выступил Хрущев, я так же горячо поддержал его, так как понимал и давно знал, что без повышения цен нельзя поднять дело. Берия занял решительную позицию против,

но аргументы у него были совершенно неубедительные. На наш вопрос, как же тогда увеличить производство картофеля, он сказал, что нужно создавать совхозы специально по картофелеводству для нужд государства. Нам с Хрущевым было ясно, что это не может решить проблемы. И все же Берии удалось собрать большинство, и вопрос был отложен. Тогда мое отношение к Хрущеву стало улучшаться. До этого мы с ним близки никогда не были, хотя отношения были корректные и когда он был секретарем МК партии, и когда работал на Украине.

Только однажды, еще при Сталине, уже после его переезда в Москву в 1950 г., у нас с ним получился конфликт по такому вопросу. Он предложил изменить систему поставок государству продуктов сельского хозяйства, определяя их величину в зависимости от того, каким количеством земли располагает колхоз. Это должно было коснуться и зерновых культур, и мяса, и молока, и шерсти. Он говорил, что для крестьянина главное — земля и что такая система будет поощрять крестьян обрабатывать всю землю, потому что поставки будут определяться количеством всей земли, независимо от того, какая ее часть обрабатывается.

Я резко выступил против этого предложения, как совершенно неправильного. Во-первых, качество земли разное в разных областях и районах. При этом далеко не все колхозы могут обработать всю землю из-за отсутствия достаточных для этого средств производства. А в отношении продуктов животноводства это было просто абсурдом. Как можно брать одинаковое количество мяса, молока и шерсти, не учитывая количества скота!

По этому вопросу два раза докладывали Сталину. Сталин слушал внимательно и мои аргументы, и Хрущева. Я не уступал. Несколько раз высказывался Хрущев. Сталин склонялся к точке зрения Хрущева. Но, зная меня и учитывая, что в проекте могут оказаться подводные камни, желая себя застраховать от серьезных ошибок, предложил в принципе принять предложение Хрущева, а мне поручить представить конкретный проект решения.

Я подготовил проект, внеся большие коррективы, которые сводились к тому, что поставки должны определяться для каждой области, края, района в отдельности, с учетом их специфики в сельскохозяйственной экономике. Норма поставки дифференцируется в каждом районе отдельно и может на 30% и более отклоняться при определении нормы поставок отдельным колхозам. Этот проект, по крайней мере, устранял грубейшую несправедливость, внося соответствующие коррективы. После споров по отдельным вопросам проект был принят. Я никогда не считал погектарный принцип поставок правильным. А у Хрущева он был идеей фикс.

Тот факт, что эта тройка — Маленков, Берия, Хрущев — как будто веревкой между собой связана, производил на меня тяжелое впечатление: втроем они могли навязать свою волю всему Президиуму ЦК, что могло бы привести к непредвиденным последствиям.

С Маленковым я никогда не дружил, хотя ценил его высокую трудоспособность. Видел его чрезвычайную осторожность при Сталине. Он был молчалив и без нужды не высказывался. Когда Сталин говорил что-то, он — единственный — немедленно доставал из кармана френча записную книжку и быстро-быстро записывал «указания товарища Сталина». Мне лично такое подхалимство претило. Сидя за ужином, записывать — было слишком уж нарочито. Но Маленков умел общаться с местными работниками и в войну сыграл немаловажную роль, в особенности в развертывании авиационной промышленности, на службу которой поставил значительную часть аппарата ЦК, обкомов и горкомов, где были авиационные заводы, что было правильно и на пользу делу. После войны он стал больше заниматься интригами и сыграл подозрительную, а вернее сказать, подлую роль в интригах, приведших к «ленинградскому делу», к гибели Кузнецова, Вознесенского и других[1].

После смерти Сталина Маленков, ставший Председателем Совета министров, стал проявлять ко мне большое внимание и полное доверие как к министру. Он даже говорил: «Ты действуй в развитии торговли свободно, я всегда поддержу».

Говоря о Хрущеве, следует подчеркнуть его большую заслугу в том, что он взял на себя инициативу в вопросе исключения Берии из руководства и сделал это, предварительно обговорив со всеми членами Президиума ЦК, но так, чтобы это не дошло до Берии.

Наши дачи были недалеко друг от друга. И вот в день заседания Президиума, 26 июня 1953 г., мне сообщили, что Хрущев просит заехать к нему на дачу до отъезда на работу. Я заехал. Беседовали мы у него в саду. Хрущев стал говорить о Берии, что тот взял в руки Маленкова, командует им и фактически сосредоточил в своих руках чрезмерную власть. Внешне он и с Хрущевым, и с Маленковым в хороших отношениях, но на деле стремится их изолировать. В качестве доказательства привел факт недопустимого разговора с Булганиным после разногласий по ГДР. Здесь Берия применил угрозу в отношении члена Президиума ЦК, видимо учитывая свое влияние. Это был действительно очень серьезный факт. Хрущев тогда впервые мне об этом сказал.

В той же беседе со мной Хрущев привел факты, как Берия единолично, минуя аппарат ЦК, связывался с украинским и белорусским ЦК и выдвигал новых руководителей, на которых он

мог бы положиться. Это тоже было для меня новым и тоже произвело неприятное впечатление. Видимо, не без тайного умысла Берия взял на себя как первого заместителя Председателя Совмина СССР бразды правления Министерством внутренних дел, что давало ему большую реальную власть. Этому я не удивился, ибо уже в момент смерти Сталина, когда Берия быстро уехал из Волынского в город, я высказал вслух свое мнение, что он «поехал брать власть». Я имел в виду, что он будет готовить почву для своей власти. Хрущев это мнение только подтвердил. Он сказал, что сотрудники нашей охраны, наверное, фактически превращены в осведомителей Берии и докладывают ему обо всех нас — что делаем, где бываем и пр. «Берия — опасный человек», — сказал Хрущев в заключение.

Я слушал внимательно, удивленный таким поворотом дела в отношении Берии после такой дружбы, заметной всем. Я спросил: «А как Маленков?» Он ответил, что с Маленковым он говорил: они же давнишние большие друзья. Я это знал. Мне было трудно во все это поверить, ибо если Маленков — игрушка в руках Берии и фактически власть в правительстве не у Маленкова, а у Берии, то как же Хрущев его переагитировал?

Хрущев сказал, что таким же образом он уже говорил и с Молотовым, и с остальными. Я задал вопрос: «Это правильно, что хотите снять Берию с поста МВД и первого зама Предсовмина. А что хотите с ним делать дальше?» Хрущев ответил, что полагает назначить его министром нефтяной промышленности. Я одобрил это предложение. «Правда, — сказал я, — он в нефти мало понимает, но имеет организаторский опыт в руководстве хозяйством, как показала война и послевоенное время». Добавил также, что при коллективном руководстве он сможет быть полезным в смысле организаторской деятельности.

В своих мемуарах Хрущев иначе излагает этот эпизод. Он умалчивает о своем ответе мне относительно намечавшейся должности министра нефтяной промышленности для Берии. Получается, что моя фраза о том, что Берия «может быть полезным» сказана была не в качестве согласия с собственными словами Хрущева, а в качестве защиты Берии.

Что касается перевода Берии в нефтяную промышленность, то, скорее всего, Хрущев сказал это мне нарочно, считая, видимо, что мы с Берией чем-то близки и мне не следует говорить всю правду. Откуда такое мнение и недоверие — непонятно. Как я уже сказал, эта тройка — Маленков, Берия, Хрущев — все решала между собой. Они были действительно близки, гораздо ближе, чем я с Берией. Кто-то мне высказал мнение, что Хрущев исходил

из того, что мы оба кавказцы. Но не представляю, чтобы Никита Сергеевич мог так глупо и примитивно рассуждать. Он же был умный человек. Неужели он мог подумать, что в таком важном политическом вопросе национальность может играть какую-нибудь роль для кого-либо, не только для меня? Для меня же ничья национальность, тем более в политике, никогда не имела никакого значения. Меня, правда, убеждали, что по своей «неотесанности» Хрущев мог проявить такую предосторожность. Напоминали, что со всеми остальными товарищами он поговорил раньше, со мной же только в день заседания. Не знаю. Хотя, конечно, иной раз и умный человек ведет себя глупо.

Во время того разговора в саду Хрущев предупредил, что сегодня повестка заседания объявлена обычная, но что мы эту повестку рассматривать не будем, а займемся вопросом о судьбе Берии.

И действительно, после обмена мнениями, когда особенно резко выступил Хрущев, и мы все выступили в том же духе, было принято решение в отношении Берии. Сначала он не понял серьезности дела и нагло сказал: «Что вы у меня блох в штанах ищете?» Но потом до него дошло. Он тут же, в комнате Президиума ЦК, был арестован.

В целом надо считать смещение Берии заслугой Хрущева перед партией. Действительно, Берия представлял опасность для партии и народа, имея в руках аппарат МВД и пост первого заместителя Председателя Правительства.

Глава 48
XX съезд партии. О жертвах Сталинизма

О моей позиции по вопросу о создании комиссии по расследованию положения дел при Сталине перед XX съездом Хрущев в своих воспоминаниях пишет: «Неудивительно, что Ворошилов, Молотов и Каганович не были в восторге от моего предложения. Насколько я припоминаю, Микоян не поддержал меня активно, но он и не делал ничего, чтобы сорвать мое предложение...»

Что касается меня, то это совершенно не соответствует фактам. Сама инициатива создания этой комиссии принадлежит мне, и Никита Сергеевич никак не мог это забыть. Поэтому очень странно звучат слова: «Насколько я припоминаю...», то есть он страхует себя возможностью ошибки. Как и многое из того, что вспоминает Хрущев, касаясь меня, моей роли или ее, так сказать, отсутствия. Я удивлен, как он мог быть так несправедлив ко мне. Это не просто забывчивость, это прямая неправда, причем часто неправда у него маскируется в игнорировании того, что я делал или говорил.

Вообще, ведь были и свидетели: Молотов, Каганович, Булганин, Суслов, Первухин, Сабуров.

А дело было так. Я и многие другие не имели полного представления о незаконных арестах. Конечно, многим фактам мы не верили и считали людей, замешанных в этих делах, жертвами мнительности Сталина. Это касается тех, кого мы лично хорошо знали. А в отношении тех, кого мы плохо знали, да нам еще представляли убедительные документы об их враждебной деятельности, мы верили.

После смерти Сталина ко мне стали поступать просьбы членов семей репрессированных о пересмотре их дел. Многие обращались через Льва Степановича Шаумяна. Он же привел ко мне Ольгу Шатуновскую, которую я знал с 1917 г., и Алексея Снегова, знакомого мне с 30-х гг. Они на многое мне открыли глаза, рассказав о своих арестах и применяемых при допросах пытках, о судьбах десятков общих знакомых и сотнях незнакомых людей. Ольга рассказала мне один эпизод, который помог осознать, что подавляющее большинство репрессированных были ни в чем не виновны. Она сидела в женском лагере. Однажды у них разнесся слух, что привезли настоящую японскую шпионку. Все сбежались посмотреть на нее, стали спрашивать: «Ты действительно шпионка?» Она зло сказала: «Да! И я, по крайней мере, знаю, почему я здесь. А вы, коммунистки проклятые, подыхаете здесь ни за что. Но мне вас не жалко!»

Я помог Шатуновской и Снегову встретиться с Хрущевым, который Ольгу знал еще со времен работы в МК, а Снегова — еще раньше. Эти два человека незаслуженно «выпали из истории», а они сыграли огромную роль в нашем «просвещении» в 1954–1955 гг. и в подготовке вопроса о Сталине на XX съезде в 1956 г. Не понимаю, почему Хрущев о них даже не упоминает. Или боится поделиться с кем-то своей славой борца против культа Сталина и за освобождение репрессированных? Но его заслуг никто и не оспаривает. Почему же не воздать должное и другим? И почему идти на прямую неправду? Однако вернусь к письмам и обращениям пострадавших.

Я направлял все эти просьбы Генеральному прокурору Руденко. Меня удивляло: ни разу не было случая, чтобы из посланных мною дел была отклонена реабилитация.

Как я говорил, мы очень были дружны с Л. С. Шаумяном. У нас были общие взгляды по многим вопросам, и мы неограниченно доверяли друг другу. Я обсуждал с ним положение дел с реабилитацией, рассказывал ему о том, что все дела, которые мною разбирались, пересмотрены и люди оказались невиновными. А ведь

многие из них были членами ЦК или наркомами (дела разбирались по просьбе детей и вдов этих людей). Как-то я попросил его (это, правда, было не сразу, а примерно за полгода до XX съезда) составить две справки. Первую — сколько было делегатов на XVII съезде, вошедшем в историю как «съезд победителей», и сколько из них подверглось репрессиям. Ведь это был 1934 г., когда на съезде не было уже антипартийных группировок, разногласий, было полное единство в партии. Поэтому важно было посмотреть, что стало с делегатами этого съезда. И вторую справку — это список членов и кандидатов в члены ЦК партии, избранных на этом съезде, а затем репрессированных.

Наконец-то я получу более или менее точный ответ, думал я. Мне важно это было знать, чтобы идти на XX съезд партии с действительными фактами в руках в отношении судеб этих двух категорий руководящих лиц.

Я сказал Льву Степановичу, что мне необходима его помощь в этом деле. Он работал в издательстве Энциклопедии, имел доступ к таким материалам и мог предоставить мне необходимые справки. Через месяц или полтора он предоставил мне эти сведения. Картина была ужасающая. Большая часть делегатов XVII партсъезда и членов ЦК была репрессирована.

Это потрясло меня. Несколько дней из головы не шла мысль об этом, все обдумывал, как это происходило, почему Сталин это сделал в отношении людей, которых хорошо знал. Словом, строил всякие догадки, но ни одна из догадок меня не устраивала и не убеждала. Я думал, какую ответственность мы несем, что мы должны делать, чтобы в дальнейшем не допустить подобного.

Шаумян добыл эти сведения частным порядком, и официально пользоваться я ими не мог, но этого было достаточно для того, чтобы потребовать обсудить этот вопрос.

Я пошел к Хрущеву и один на один стал ему рассказывать. Он в это время был поглощен другими вопросами, тоже важными, конечно, но другого характера: целинные земли, новые положения о методах борьбы за социализм (признание мирного перехода) и т. д. Мне пришлось убеждать его, что самый важный вопрос — осуждение сталинского режима.

«Вот такова картина, — говорил я. — Предстоит первый съезд без участия Сталина, первый после его смерти. Как мы должны себя повести на этом съезде касательно репрессированных сталинского периода? Кроме Берии и его маленькой группы — работников МВД, мы никаких политических репрессий не применяли уже почти три года. Но надо ведь когда-нибудь если не всей партии, то хотя бы делегатам первого съезда после смерти Сталина доло-

жить о том, что было. Если мы этого не сделаем на этом съезде, а когда-нибудь кто-нибудь это сделает, не дожидаясь другого съезда, все будут иметь законное основание считать нас полностью ответственными за прошлые преступления.

Конечно, мы несем большую ответственность. Но мы можем объяснить обстановку, в которой мы работали. Объяснить, что мы много не знали, во многое верили, но в любом случае просто не могли ничего изменить. И если мы это сделаем по собственной инициативе, расскажем честно правду делегатам съезда, то нам простят, простят ту ответственность, которую мы несем в той или иной степени. По крайней мере, скажут, что мы поступили честно, по собственной инициативе все рассказали и не были инициаторами этих черных дел. Мы свою честь хотя бы в какой-то мере отстоим. А если этого не сделаем, мы будем обесчещены».

Хрущев слушал внимательно. Я сказал, что предлагаю внести в Президиум предложение о создании авторитетной комиссии, которая изучила бы все документы МВД, Комитета госбезопасности, прокуратуры, Верховного суда и другие, добросовестно разобралась во всех делах о репрессиях и подготовила бы доклад для съезда. Хрущев согласился с этим. Я предложил создать комиссию Президиума, куда вошли бы я, Хрущев, Молотов, Ворошилов и другие товарищи. Ввиду важности вопроса, состав комиссии соответствовал бы своему назначению. Хрущев внес поправку, что, во-первых, мы очень перегружены и нам трудно будет практически разобраться во всем, и во-вторых, не следует в эту комиссию входить членам политбюро, которые близко работали со Сталиным. Важнее и лучше включить в состав комиссии авторитетных товарищей, но близко не работавших со Сталиным. Предложил во главе комиссии поставить Поспелова, директора Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Это — история партии, прямо касается работы его аппарата. Предложил включить и некоторых других.

Я с этим согласился, хотя сказал, что Поспелову нельзя всецело доверять, ибо он был и остается просталински настроенным. Словом, договорились, что этот вопрос обсудим на Президиуме и он подумает как первый секретарь ЦК. Так и сделали. Он заявил, что если комиссия будет работать неправильно, то мы вмешаемся.

Комиссия в составе Поспелова, Аристова, Шверника и Комарова тщательно изучила в КГБ архивные документы и представила пространную записку[2].

В записке комиссии от 9 февраля 1956 г. приводились ужаснувшие нас цифры о числе советских граждан, репрессированных и расстрелянных по обвинению в «антисоветской деятельности»

за период 1935–1940 гг., и особенно в 1937–1938 гг. В записке указывалось, что в ряде крайкомов, обкомов, райисполкомов партии были подвергнуты арестам две трети состава руководящих работников.

Более того, из 139 членов и кандидатов в члены ЦК ВКП(б), избранных на XVII съезде партии, было арестовано и расстреляно за эти годы 98 человек. «Поражает тот факт, — говорилось в записке, — что для всех преданных суду членов и кандидатов в члены ЦК ВКП(б) была избрана одна мера наказания — расстрел». Всего же из 1966 делегатов этого съезда с решающим и совещательным голосом было арестовано по обвинению в контрреволюционных преступлениях 1108 человек, из них расстреляно 848. Факты были настолько ужасающими, что в особенно тяжелых местах текста Поспелову было трудно читать, один раз он даже разрыдался.

Когда я в 1956 г. внимательно ознакомился с этой запиской комиссии, то невольно вспомнил два ранее известных мне факта:

1. При выборах членов ЦК на XVII съезде партии (февраль 1934 г.) Сталин получил изрядное количество голосов против.

Подсчет голосов велся в нескольких счетных подкомиссиях. Одну из них возглавлял Наполеон Андреасян, мой школьный товарищ, который тогда же рассказал мне об этом. Только в его группе оказалось 25 голосов, поданных против кандидатуры Сталина.

Результаты голосования на съезде не объявлялись. Но о них несомненно доложил Сталину председатель счетной комиссии съезда Л. Каганович.

Насколько я помню, против Сталина было 287 голосов (данные О. Шатуновской, которая лично держала эти бюллетени в руках и пересчитала в 1950-х гг.).

2. Через какое-то время, после XVII съезда партии, нам, членам и кандидатам в члены политбюро ЦК, стало известно о том, что группа товарищей, недовольная Сталиным, намеревается его сместить с поста генсека, а на его место избрать Кирова. Об этом Кирову сказал Б. Шеболдаев, работавший тогда секретарем одного из обкомов партии на Волге. Киров отказался и рассказал Сталину, который поставил в известность об этом политбюро. Нам казалось тогда, что Сталин этим и ограничится.

Мы утвердили все выводы комиссии Поспелова без изменений. Но она не внесла предложений по вопросу об открытых судебных процессах 30-х гг., заявив, что не сумела разобраться и что ей это трудно сделать. Видимо, решили подстраховаться, потому что после всех изложенных фактов эти процессы просто разваливались. Ведь отдельные проходившие по ним подсудимые были уже признаны ни в чем не повинными, а по процессам они проходили как

враги. Логики в этом не было никакой... Тогда Хрущев предложил создать новую комиссию — специально по открытым судебным процессам, включив туда, кроме уже работавших членов, также Молотова, Кагановича и Фурцеву. Мою кандидатуру он почему-то даже не назвал.

Я не возражал против предложенного состава. Может быть, если бы это было предварительным обменом мнениями, я бы и возразил. Ведь соображение об участии в сталинском руководстве уже отпало. Но почему только для Молотова и Кагановича? Возможно, было бы целесообразно мне быть там, чтобы противостоять в случае необходимости Молотову и Кагановичу. Я думал о роли Кагановича, а также о том, что Молотов тогда был вторым лицом в партии и государстве и во многом помогал Сталину в ходе репрессий. Стоило ли их включать в состав, где остальные участники были намного ниже по положению в партии?

Но в тот момент возражать и объяснять причины было неудобно, ибо предложение было одобрено без оговорок. Кроме того, я думал, что они уже поработали и в отношении судебных процессов и результат будет такой же, как и в отношении репрессий.

Но мы ошиблись. Через некоторое время новая комиссия представила предложения в том смысле, что, хотя в те годы не было оснований обвинить Зиновьева, Каменева и других в умышленной подготовке террора против Кирова, они все же вели идеологическую борьбу против партии и пр. Поэтому, делала вывод комиссия, не следует пересматривать эти открытые процессы.

Мы оказались в меньшинстве, поскольку выводы сделала такая широкая и представительная комиссия. Несомненно, мое участие могло бы многое изменить в выводах и заключениях, я мог бы влиять на ее работу и противостоять Молотову и Кагановичу. Хрущев не мог этого не понимать.

Непонятен еще такой момент. Я якобы «не поддерживал» это дело. Помню до мелочей, как это происходило. Когда речь зашла о докладчике на съезде, я предложил сделать доклад не Хрущеву, а Поспелову как председателю комиссии ЦК партии. Это было объективно верно: ведь раз мы утвердили состав комиссии и ее председателя, то всем и так ясно, что доклад делается от нас, а не от Поспелова. Хрущев мне ответил: «Это неправильно, потому что подумают, что Первый секретарь уходит от ответственности и вместо того, чтобы самому доложить о таком важном вопросе, предоставляет возможность выступить докладчиком другому». Настаивал, чтобы основным докладчиком был именно он. Я с этим согласился, так как при таком варианте значение доклада только возрастало. Он оказался прав.

К концу съезда мы решили, чтобы доклад был сделан на заключительном его заседании. Был небольшой спор по этому вопросу. Молотов, Каганович и Ворошилов сделали попытку, чтобы этого доклада вообще не делать. Хрущев и больше всего я активно выступили за то, чтобы этот доклад состоялся. Маленков молчал. Первухин, Булганин и Сабуров поддержали нас. Правда, Первухин и Сабуров не имели такого влияния, как все остальные члены Президиума.

Тогда Никита Сергеевич сделал очень хороший ход, который разоружил противников доклада. Он сказал: «Давайте спросим съезд на закрытом заседании, хочет ли он, чтобы доложили по этому делу, или нет». Это была такая постановка вопроса, что деваться было некуда. Конечно, съезд бы потребовал доклада. Словом, выхода другого не было. Было принято решение, что в конце съезда, на закрытом заседании, после выборов в ЦК (что для Молотова и Кагановича казалось очень важным) такой доклад сделать.

Утверждение Хрущева в отношении меня неверно еще и потому, что в открытых выступлениях на съезде я единственный подверг в своей речи принципиальной критике отрицательные стороны деятельности Сталина, что вызвало среди коммунистов шум и недовольство.

Помню, когда кончилось мое выступление и объявили перерыв, ко мне подошел мой брат Артем, делегат съезда, и сказал: «Анастас, ты зря эту речь сказал. Ты по существу был прав, но многие делегаты недовольны тобой, ругают тебя. Для чего ты так напал на Сталина? Почему на себя должен взять инициативу, когда другие об этом не говорят? И Хрущев ничего подобного не сказал».

Я ему ответил: «Ты не прав. И те товарищи, которые недовольны моим выступлением, также не правы. А что касается Хрущева, то он на закрытом заседании сделает доклад и расскажет о более страшных вещах».

Отвлекаясь от воспоминаний Хрущева, хочу еще уточнить некоторые детали о том, как реально освобождались заключенные.

Я возглавил Комиссию по реабилитации. Очень скоро пришел к выводу, что такими темпами, которыми шло дело через Генеральную прокуратуру, сотни тысяч людей умерли бы в лагерях, не дождавшись освобождения. Сначала в частном порядке поговорил с А. В. Снеговым, который после 17-летнего заключения в лагерях работал начальником политотдела ГУЛАГа. Он подтвердил мое мнение. Мы решили, что надо освобождать людей, во-первых, на местах, разослав туда «тройки» (на этот раз с целью освобождения, а не осуждения), во-вторых, производить реабилитацию с немедленным освобождением прямо по статьям,

которые заключенному инкриминировались. Это не было легкомысленным решением: до этого я убедился, что чье бы дело мы ни рассматривали отдельно, человек оказывался невиновным. С этим же столкнулась Ольга Шатуновская, которая уже работала в Комиссии партийного контроля (после длительного заключения и ссылки), виновных она не обнаружила ни одного! Я поговорил с Генеральным прокурором СССР Руденко. Предварительно с ним беседовал Снегов, и тогда Руденко выразил сомнения в юридической правомерности такого подхода. Возможно, строго юридически он имел основания выражать сомнения. Но невозможно применять всю строгость правовых норм к тем, кто так сильно пострадал от нарушения законности и от произвола. Мне Руденко уже сказал, что такой подход вполне оправдан. Потом я сообщил об этом Хрущеву, который одобрил такой подход. В результате мы послали, кажется, 83 комиссии в наиболее крупные поселения ГУЛАГа. Туда же привозили заключенных с мелких объектов этой структуры. Всю организационную работу в этом отношении провел для меня Снегов, который хорошо знал географию лагерей. Вызывали, например, всех, осужденных за вредительство, и объявляли им, что они реабилитированы, выдавали документы и освобождали, обеспечивали им транспортировку по домам. Или по статье за подготовку террористического акта против Сталина, либо кого-либо еще из правительства (в качестве казуса Снегов, работавший в самой крупной комиссии, рассказывал мне, что были там и такие, кто сидел за то, что покушался на жизнь Берии, расстрелянного за два с лишним года до того!). Так мы добились, что сотни тысяч людей были освобождены немедленно. Даже возникла необходимость в дополнительных пассажирских поездах.

Итак, мысль о реабилитации жертв сталинских репрессий я высказал задолго до съезда, включая и тех, кто проходил по процессам 30-х гг. Отмене приговоров по процессам, как я упомянул, помешали Молотов и Поспелов. Поспелов не дал необходимых материалов. Молотов повел себя хитрее: он сказал, что, хотя нет доказательств вины Зиновьева, Каменева и их сторонников в убийстве Кирова, морально-политическая ответственность остается на них, ибо они развернули внутрипартийную борьбу, которая толкнула других на террористический акт. Тут мы с Хрущевым сделали ошибку: вместо того чтобы навязать правильное решение, отбросив эту словесную шелуху, решили создать специальную комиссию по убийству Кирова и по другим процессам. Дело в том, что многие даже в Центральном комитете (и кое-кто в политбюро) были еще не подготовлены к первому варианту решения. Ошибка была сделана и в подборе состава комиссии: главой ее сделали

Молотова. Вошла туда и Фурцева как представитель нового руководства партии. Я все-таки верил, что Молотов отнесется к этому делу честно. И ошибся, проявил в отношении его наивность. Не думал, что человек, чья жена была безвинно арестована и едва не умерла в тюрьме, способен продолжать прикрывать сталинские преступления.

Повторяю, именно я предложил сделать доклад XX съезду (правда, я предлагал сделать его Поспелову). Но Хрущев, наверное, оказался прав, что доклад надо было делать первому секретарю. Я предлагал нам всем войти в комиссию. Но и тут Хрущев, видимо, был прав, что мы слишком близки были к Сталину сами, лучше нам не входить в комиссию. Как бы то ни было, доклад и разоблачение преступлений Сталина были необходимы для оздоровления и партии, и общества в целом, для возрождения демократии и законности.

Глава 49
Хрущев у власти

Я решительно встал на сторону Хрущева в июне 1957 г. против всего остального состава Президиума ЦК, который фактически уже отстранил его от руководства работой Президиума. Хрущев висел на волоске. Почему я сделал все, что мог, чтобы сохранить его на месте Первого секретаря? Мне было ясно, что Молотов, Каганович, отчасти Ворошилов были недовольны разоблачением преступлений Сталина. Победа этих людей означала бы торможение процесса десталинизации партии и общества. Маленков и Булганин были против Хрущева не по принципиальным, а по личным соображениям. Маленков был слабовольным человеком, в случае их победы он подчинился бы Молотову, человеку очень стойкому в своих убеждениях. Булганина эти вопросы вообще мало волновали. Но он тоже стал бы членом команды Молотова. Результат был бы отрицательный для последующего развития нашей партии и государства. Нельзя было этого допустить.

Я понимал, что характер Хрущева для его коллег — не сахар, но в политической борьбе это не должно становиться решающим фактором, если, конечно, речь не идет о сталинском методе сведения счетов со своими подлинными или воображаемыми оппонентами. К Хрущеву такого рода аналогии не относились. В период борьбы за XX съезд мы с ним сблизились, оказались соратниками и единомышленниками. Хотя трудности его характера уже чувствовались. Но я видел и его положительные качества. Это был настоящий самородок, который можно сравнить с неотесан-

ным, необработанным алмазом. При своем весьма ограниченном образовании он быстро схватывал, быстро учился. У него был характер лидера: настойчивость, упрямство в достижении цели, мужество и готовность идти против сложившихся стереотипов. Правда, был склонен к крайностям. Очень увлекался, перебарщивал в какой-то идее, проявлял упрямство и в своих ошибочных решениях или капризах. К тому же навязывал их всему ЦК после того, как выдвинул своих людей, делая ошибочные решения как бы «коллективными».

Увлекаясь новой идеей, он не знал меры, никого не хотел слушать и шел вперед как танк. Это прекрасное качество лидера проявилось в борьбе за десталинизацию, особенно в главном. Иногда, правда, он как бы пугался и шел на уступки. Так, дал себя испугать последствиями XX съезда для коммунистов Европы и отложил реабилитацию по процессам 1930-х гг. Это был противоречивый характер, очень нелегкий в работе и даже в личном общении. Но я мирился с его недостатками ради главного. Иногда, правда, готов был крупно разойтись.

Трудно даже представить, насколько недобросовестным, нелояльным к людям человеком был Хрущев. Вернее, легко мог им быть. Ко мне он всегда ревновал, часто на меня нападал: хотел изрекать истины, а другие чтобы слушали и поддакивали или же молчали. Я же ни по одному вопросу не молчал. Никогда не интриговал, но спорил открыто. Конечно, когда он был прав, я его поддерживал, но, когда ошибался, я не молчал. Это его раздражало.

При нем я два-три раза обдумывал отставку из политбюро (Президиума ЦК). В первый раз — в 1956 г. из-за решения применить оружие в Будапеште, когда я уже договорился о мирном выходе из кризиса. Еще один раз — из-за Берлина и Потсдамских соглашений, от которых он хотел в одностороннем порядке отказаться, публично заявив об этом осенью 1958 г.

Но еще перед этим — в 1958 г., когда он создал комиссию во главе с новоиспеченным секретарем ЦК Игнатовым для проверки работы Министерства внешней торговли, то есть проверки моей работы, ибо я в Совете министров курировал это министерство. Никто из комиссии Игнатова ни черта не смыслил во внешней торговле. Там еще был Аристов. Игнатов был инициатором отправки Смелякова в США, в Амторг. Оттуда Смеляков послал прямо в ЦК, минуя Совмин (хотя много лет меня знал и понимал, что я приму и рассмотрю объективно каждую жалобу), бумагу о том, что Внешторг плохо работает. Как будто в торговле с Америкой дело упиралось в плохую работу Внешторга! Смеляков был умный человек, хороший работник. Написал полезную книгу «Деловая

Америка»[3]. Но Игнатов нащупал его слабую струнку — амбициозность — и пообещал ему пост министра. А министром тогда был Патоличев, с которым Игнатов был в хороших отношениях, и, не желая с ним ссориться, он хотел Смелякова двинуть в министры, а Патоличева — в Совмин по внешнеэкономическим связям, то есть на мое место. И Хрущев это, видно, поддерживал, поскольку создал такую комиссию.

Моего младшего сына Серго он предложил выдвинуть на «ответственную работу» во Внешторг, чтобы меня умаслить, вроде вся эта затея не против меня. Вел себя как дурак! Но не вышло. И Патоличев не захотел против меня идти. Он проявил себя как честный, принципиальный человек и не карьерист. Он вообще хорошо вел себя во Внешторге. Никакой чистки после меня не устраивал, прежние кадры не разгонял, наоборот, понимая их силу, опирался на их знания и опыт. Сам он больше представительствовал. И правильно делал, ибо плохо разбирался в деталях, в практических вопросах внешней торговли.

А ведь вся эта затея поощрялась Хрущевым спустя всего лишь год после того, как я его спас на Июньском пленуме (1957 г.) ЦК от смещения с должности. Его же практически, как я говорил, Президиум уже отстранил тогда, и я был единственным, кто его защищал под всякими предлогами — «неполного состава Президиума ЦК в данный момент» и т. д. Все дело было в том, в какой форме сообщить пленуму ЦК: как об уже состоявшемся решении Президиума или как о полемике в Президиуме. В первом случае его песенка была бы спета. Пленум бы, безусловно, одобрил решение: сталинские традиции были сильны еще долго после его смерти. Я всячески тянул. Потом прилетел Суслов, я его убедил, что Хрущев все равно выйдет победителем. То же с Ворошиловым, хотя тот и колебался. Фурцева была за Хрущева, но не имела достаточного авторитета, и ее роль была незначительной. Все же мы — а по сути дела я — добились того, чтобы выйти на пленум с вопросом, как решить разногласия в Президиуме? Пленум понял расстановку сил и поддержал Хрущева. Возврат к сталинским порядкам мало кого устраивал. И вот через год он поддерживает интригу против меня!

А как он поссорился с Маленковым? Молотов и Каганович — другое дело. Тут политика. Их не устраивала десталинизация. А Маленков хотел тоже быть реформатором. Ему с Хрущевым политически было по пути. Только он переоценил пост главы правительства (Ленин был Председателем Совнаркома) и недооценил роль руководителя партийного аппарата. Сам перешел в правительство, отдав партию в руки Хрущеву. Видимо, не представлял себе,

на какое вероломство по отношению к нему мог пойти Хрущев. Непростительная ошибка! Ведь он сам при Сталине сделал этот аппарат всемогущим исполнителем воли генерального (первого) секретаря.

А причина их ссоры заключалась, по-моему, в следующем. В 1953 г. Хрущев первым выступил на пленуме о мерах для облегчения положения крестьян и о сельском хозяйстве вообще. И очень хорошо, правильно выступил, подняв давно назревшие проблемы. Конечно, большинство в Президиуме ЦК его поддержало. Это была его несомненная заслуга. Но потом на Верховном Совете с этим же выступил Председатель Совета министров Маленков. Вот народ и приписал ему всю славу. Этого Хрущев ему не забыл и не простил. Он не хотел ни с кем делить ни славы, ни — главное — власти. Уверен, именно по этой причине у них, давнишних друзей, пошел разлад.

Удивительно, каким неверным мог быть Хрущев. Например, в случае с Кириченко. Двадцать лет вместе работали. Сделал его вторым секретарем ЦК. Лучшая это была кандидатура или нет — другой вопрос. Уж конечно, не хуже, чем Брежнев или Кириленко. И, безусловно, лучше Суслова, который вообще-то был работник областного масштаба, как, впрочем, и все они. Только в политическом отношении Суслов оказался гораздо хуже: не просто консерватор, а настоящий реакционер. Лично я с ним был в неплохих отношениях, на уровне членов Президиума он казался приличным человеком. Но очень скоро выяснилось, что он, по сути дела, саботирует десталинизацию, расправляется с неугодными ему прогрессивно настроенными работниками ЦК среднего уровня. Например, с Бурджаловым, который с благословения Льва Шаумяна опубликовал статью об отрицательных моментах роли Сталина на VI съезде[4]. Я эту статью читал еще в гранках, и она мне понравилась. Суслов же начал гонения на Бурджалова. Вообще, крупной ошибкой Хрущева было сохранение Суслова на его прежнем посту — почти том же, что и при Сталине, только еще более ответственном, ибо при Сталине он в области идеологии никогда не был на такой высоте, над ним стоял член политбюро, в которое он не входил.

И вот Хрущев вдруг, без всякой причины снял Кириченко и послал на периферию с понижением. Почему? Никакой оппозиции, никаких заметных ошибок. Игнатов еще интриговал, а этот ведь нет! А падение куда ниже, чем для Игнатова. Или история с Фурцевой, то поднимал ее, как только мог, то наоборот. И все это без предупреждения, без предварительного разговора. Люди узнавали, что они уже не в Президиуме ЦК, только тогда, когда

оглашался список. У Фурцевой был сердечный приступ, и она пыталась покончить жизнь самоубийством...

То ценил — то не ценил, то верил — то не верил. Сам не знал почему. Один раз был курьезный случай: после съезда он на пленуме огласил список членов Президиума ЦК, в котором не оказалось Кириленко. Я в перерыве спросил: «В чем дело? Ты вроде не собирался его убирать». А он говорит: «Как, разве я его не назвал? Да, верно. Его, оказывается, нет в моем списке. Я просто забыл его вписать. Хорошо, что ты напомнил». Удачно вышло, что еще не успели дать в газеты, вовремя исправили.

А организационная чехарда? Как будто со Сталина брал пример. Организация совнархозов была правильной — это опять его несомненная заслуга, так как это давало власть на местах и, что особенно важно, — в республиках. Так что совнархозы — очень хорошая идея Хрущева, основанная на опыте 20-х гг. Невозможно и не нужно руководить всем из центра, бездумно командовать. И ведь команды шли не только из правительства, но и от чиновников общесоюзных ведомств, которые создали постепенно — при попустительстве или участии самого Хрущева. Новых бюрократических общесоюзных структур оказалось больше, чем мы распустили в 1953–1954 гг. (Госстрой, Комитет по печати и др.). В результате ущемлялось самолюбие республик, нарушались их права, зафиксированные в Конституции. Республики даже автономии подчас не имели, не то что суверенных прав, как записано.

Политику Хрущева в области сельского хозяйства невозможно оценить однозначно. Да, много хорошего предпринял и провел, особенно в первые годы после смерти Сталина. Мне однажды сказал с какой-то ревностью: «Ну уж в сельском хозяйстве-то я разбираюсь лучше тебя!» Может, в чем-то и лучше разбирался, не спорю, но сколько же органов новых Хрущев придумал, сколько старых распустил, перестроил!.. Потом и новые распускал и создавал другие. Людям на местах, наверное, невозможно было уследить за этой чехардой. И невозможно было работать нормально. Ведь достаточно в одном учреждении постоянно менять руководителя, как оно дезорганизуется. А тут еще хуже — новые учреждения с другими правами и функциями. И конечно, другие руководители. И так почти каждый год! Укрупняли колхозы, забрасывали деревни, делая их пустующими, вместо деревенского хлеба и молока, свежего и всегда под рукой, решили завозить из города. И конечно, начались перебои с подвозом. Появились очереди за хлебом и молоком в деревне — это раньше представить было невозможно! Потом начал кампанию за передачу скота в колхозные фермы — и опять ничего хорошего от этого не получилось. Чуть не отобрал

приусадебные участки у колхозников, чем немедленно поставил бы страну на грань голода. Вовремя его остановили, я в том числе. Даже затеял превращение колхозов в совхозы без серьезного обоснования, просто с целью «заставить мужика работать». Исчерпал, видимо, все организационные меры, а мужик все не работал. Экономические меры и стимулы он серьезно не понимал, а ведь умный был человек. Но не хватало образования, политического опыта, глубины подхода. Как правило, у него преобладали поверхностный подход, желание немедленно свои идеи применить в жизни. Такая энергичность и напористость — бесценные качества, только направлялись они слишком часто по неправильному пути.

А разделение партийных органов на местах на сельские и городские? Вообще неразбериха началась — кто за что отвечает и где.

Все его перегибы — не только результат эмоциональности сверх всякой меры и непонимания, неспособности обдумывать вопросы со всех сторон. Ко всему этому он просто зазнался после 1957 г., почувствовал вкус власти, поскольку ввел своих людей в Президиум и решил, что может ни с кем не считаться, что все будут только поддакивать.

Личные же отношения между мной и Хрущевым после 1957 г. как раз нередко бывали натянутыми. Но для той группы, что начала борьбу против него, важно было другое. Он болтал при всех, что надо, мол, расширять Президиум за счет молодых — Шелепина, Семичастного и других, называя в их числе даже Сатюкова (из «Правды»), Горюнова (из ТАССа), Аджубея, своего зятя (из «Известий»). И долго ничего не делал. Конечно, некоторые из этих более молодых были способными людьми. Но не все созрели для Президиума ЦК. А те, кто уже был в Президиуме, поняли, что он хочет такого состава, который по его указке будет делать все что угодно. Правда, и прежний состав ему не перечил, кроме меня. Но принять большую группу новых означало, как и для Сталина в 1952 г., возможность легко и незаметно убирать любого. И они испугались.

Это был 1964 год.

Первые данные об опасности смещения у Хрущева появились от сына Сергея. Как всегда в трудную минуту, он вызвал меня. У него уже побывал по этому поводу Подгорный. Я сказал так: «Думаю, Брежнева и Подгорного пристегнули. А в отношении Шелепина и Семичастного — я их не знаю, не могу судить». Он возражал: «Нет, в Шелепине и Семичастном я уверен!»

Как он мог быть уверен, если обращался с людьми, как с пешками? Что он делал с Семичастным? Сначала утвердил его заворгом ЦК — это почти что должность секретаря ЦК. И вдруг послал

вторым секретарем ЦК Азербайджана. И люди чувствовали себя неуверенно. А насчет Мжаванадзе? Сказал, что надо его менять. Тот вынужден был сказать об этом на пленуме Грузии. В Пицунде он жил на даче правительства Грузии, рядом с нашими государственными дачами, совсем убитый. Я обещал поговорить с Хрущевым. Плавали однажды вместе в бассейне, и я переубедил его. Сказал: «Куда спешить? Будет съезд, тогда новый состав будет, тогда и сделаешь». Мжаванадзе остался, но стал его врагом.

Он как будто нарочно создавал себе врагов, но даже не замечал этого. Многие маршалы и генералы — члены ЦК — были против него за его перегибы в военном деле. Например, считал, что с изобретением ракет авиация окончательно теряет значение; что подводные лодки полностью заменят наземные корабли, поскольку последние — плавучие мишени для ракет. Думал только в масштабе большой войны, не учитывал особенности локальных войн. А именно они и надвигались, так как после Карибского кризиса обе стороны поняли, что надо избегать крайностей, которые могут незаметно подтолкнуть к третьей мировой войне, притом ядерной. Американцы раньше нас поняли, что локальные войны будут и именно к ним надо готовиться.

Местные лидеры были раздражены чехардой, диктуемой из Москвы Хрущевым. В общем, многое, что ставилось ему в вину на пленуме в октябре 1964 г., было правильно. Все же я считал, что Хрущев — это тоже наш политический капитал, который нельзя так просто терять. Он еще мог быть полезен. Его только надо было одернуть, поставить на место, лишить возможности управлять по-диктаторски, что имело место, по сути дела. Я это стал видеть отчетливо после 1957 г.

В некоторых вопросах он не соглашался со мной только потому, чтобы не признать меня правым. Ну и потому, что не понимал. Например, я еще задолго до войны, когда был наркомом снабжения, завел специальные хозяйства крупного рогатого скота и овец. Их не доили, а выращивали только для мяса. Выписали из Англии. Сталин тогда меня понял. А Хрущев отменил. «Вот, — говорит, — у нас молока не хватает, а он их не доит. Надо всех доить». Но скот на мясо от этого становится хуже и весит меньше. К тому же я завел эти хозяйства в степях, где не было рабочей силы. На 500 коров можно было иметь одного пастуха. А доить — одна доярка на каждые 10 коров.

Хрущев во второй половине 1950-х гг. их соединил в молочно-мясные хозяйства. Надо разъединять, а он объединил. Воронов, Председатель Совета министров России, между прочим, меня понял, он со мной был согласен. Сейчас восстановили кое-что.

Раньше, когда Хрущев работал на Украине, мы с ним мало сталкивались. Но однажды столкнулись. Это было связано с его идеей устанавливать план на гектар земли.

Я уже давно ввел бонификацию и ректификацию при сдаче продукции государству. Сталин даже однажды тост провозгласил: «За твои бонификации!» Это были стимулы для повышения качества сельскохозяйственной продукции. Для зерна — процент влажности, для свеклы — процент сахаристости, влажности и т. д. Хрущев же вместо доплат за хорошее качество, вычетов — за плохое, которые я вводил, ввел прием на вес — «за мужика ратовал». Но это с его стороны было не «за мужика», а за разложение мужика.

Одно время он стал нападать на подсолнух, но удалось его убедить, что без подсолнечного масла нам не обойтись.

Надо сказать в его пользу — в политбюро конца 30-х гг. Хрущев был одним из самых работящих. Много и активно работали он, Каганович и я. Маленков — когда исполнял приказы Сталина. Молотов был барин, не любил «черновой работы», то есть предпочитал совещания, комиссии и указания. Булганин же совсем не политик — случайно попал в высший политический орган и работой себя не перегружал. Берия довольно ловко ухитрялся выполнять многие задания, пользуясь своим положением в НКВД и МГБ. Косыгин был опытным хозяйственником, хотя в нем слишком сильна была жилка администрирования. В политическом отношении он все же мало вырос за время работы в политбюро при Сталине, и потом, с 1965 г., при Брежневе, он явно выпадал из команды — это к его чести, надо сказать. Но, наверное, поэтому он побоялся меня поддержать, когда я предложил принять предложение адмирала В. Ф. Трибуца, актера Н. К. Черкасова и министра Д. В. Павлова увековечить имя А. А. Кузнецова в связи с тем, что в начале 1965 г. ему бы исполнилось 60 лет.

Предлагалось присвоить Кузнецову звание Героя Советского Союза за оборону Ленинграда, назвать его именем улицу в Ленинграде и установить бюст. Письмо мне передал мой младший сын Серго, который и организовал это письмо предварительно, написал текст и разослал его видным в Ленинграде людям. Я его ругал, что он не сделал этого раньше, — при Хрущеве это было бы легко пробить. А тут Суслов возразил, а Косыгин, на мое удивление, промолчал: видно, поддерживать меня было ему нежелательно, или не хотел спорить с Сусловым. Кто-то еще усомнился, и решение не прошло. А ведь Косыгин и Кузнецов были и родственники, и друзья.

В целом политбюро до 1957 г. было более сильным по составу работников, чем после 1957 г.

Внешней политикой Хрущев очень увлекся после смерти Сталина. Многое делал правильно. Например, налаживал отношения с развивающимися странами, нормализовал отношения с Югославией. И было очень разумно именно нашей делегации во главе с самим Хрущевым поехать туда, чтобы хоть как-то загладить оскорбления в адрес этой страны со стороны Сталина.

В середине 50-х гг. Хрущев активно выступал за разрядку, но скоро похоронил ее военными действиями в Венгрии. Я возражал, а Суслов подначивал. Хрущев же очень боялся цепной реакции, вопрос решился, пока я летел из Будапешта в Москву и не мог принять участия в его обсуждении. Я все равно высказался против, хотя войска уже вели бои в Будапеште.

В вопросе о Берлине Хрущев также проявил удивительное непонимание всего комплекса вопросов, готов был отказаться от Потсдамских соглашений и обо всем этом осенью 1958 г. заявил в публичном выступлении без предварительного обсуждения в Президиуме ЦК и Совете министров. Это само по себе вообще было грубейшим нарушением партийной дисциплины. Я сразу же поставил вопрос и попросил присутствовавшего Громыко (он не был тогда в политбюро) высказать мнение МИДа. Тот что-то промычал нечленораздельное. Я повторил вопрос — тот опять мычит: видимо, не смел противоречить Хрущеву, но и не хотел взять на себя ответственность за такой шаг. Я долго тогда говорил о значении соглашений, перечислил возможные отрицательные для нас последствия отказа от них, настаивал на том, что в спешке такие вопросы решать недопустимо! В конечном итоге предложил отложить обсуждение на неделю, обязав МИД представить свои соображения в письменной форме. Хрущеву пришлось это принять. Остальные просто молчали. Зато когда выходили, Булганин мне шепнул: «Ты уже выиграл!»

После этого Хрущев стал меня уговаривать поехать в США, чтобы рассеять враждебную конфронтацию, возникшую в результате его же речи. Я резко возражал: «Ты затеял, ты и поезжай! Кстати, меня никто не приглашает туда». — «Нет, мне нельзя. Я первое лицо. Поезжай как личный гость посла Меньшикова. Ведь все же знают, что он был долгое время твоим заместителем во Внешторге. Возьми младшего сына, чтобы подчеркнуть частный характер поездки. А он поработает твоим личным секретарем». В общем, пришлось ехать в первые же дни нового, 1959 г.

Очень хорошо прореагировал Хрущев на мои предложения установить тесные отношения с Кубой после моей первой поездки туда в феврале 1960 г. А в Нью-Йорке во время сессии Ассамблеи ООН в сентябре 1960 г. он сделал блестящий ход, поехав к Фиделю

Кастро в гостиницу в негритянский район, где тот остановился. Такие вещи Хрущев умел делать очень хорошо.

Казалось, выводы из своей берлинской авантюры он сделал.

Но в мае того же 1960 г. Хрущев опять «похоронил разрядку», раздув инцидент с самолетом-разведчиком У-2. Так нельзя было поступать с Эйзенхауэром. Тот честно взял на себя ответственность, хотя мог бы этого и не делать. Сама поездка Хрущева в США в сентябре 1959 г. давала хороший старт разрядке, и ответный визит Эйзенхауэра в 1960 г. закрепил бы эту тенденцию ввиду большого авторитета Эйзенхауэра в США, у нас и во всем мире. Другим в Америке было бы нелегко повернуть обратно после него. Даже Даллес готов был к переменам, как я убедился в январе 1959 г. (хотя он вскоре скончался).

Но из-за того, что наши ракеты наконец случайно сбили У-2, Хрущев устроил непозволительную истерику. Заставил всю Европу, жаждавшую разрядки (может быть, кроме ФРГ, в тот период), уговаривать его в Париже. А он просто наплевал на всех, включая де Голля, занявшего не зависимую от США позицию. Так что он виновен в том, что отодвинул разрядку лет на пятнадцать, что стоило нам огромных средств ради гонки вооружений.

Потом в 1961 г. Кеннеди поехал на встречу в Вену с Хрущевым с подобными идеями, до Карибского кризиса, но после неудачного вторжения на Кубу в апреле 1961 г. контрреволюционеров, организованных и вооруженных американцами. Хрущев же не оценил этого стремления. Он тогда зазнался необычайно — после полета Гагарина в космос и укрепления наших отношений в Африке и Азии. Решил подавить молодого президента, только что политически проигравшего при высадке на Кубу, вместо того чтобы использовать этот шанс для разрядки.

Чистой авантюрой Хрущева был Карибский ракетный кризис в 1962 г., который закончился, как ни странно, очень удачно. Я много спорил, говорил, что американцы обязательно обнаружат завозимые ракеты в момент строительства стартовых площадок. «Кубу защищать надо, — убеждал я, — но таким путем мы рискуем вызвать удар по ней и только все потеряем». Все решила поездка маршала Бирюзова в Гавану. Во-первых, Фидель Кастро, вопреки моим ожиданиям, согласился. Во-вторых, чтобы угодить Хрущеву, Бирюзов, видимо, не очень умный человек, сказал, что «местность позволяет скрыть все работы», под пальмами, мол, их будет не видно. Я-то видел эти пальмы — под ними ракетную площадку никак не укроешь. Бирюзов заменил на посту командующего стратегическими ракетными войсками погибшего в авиакатастрофе маршала Неделина, очень умного человека,

прекрасного командующего, умеющего отстаивать свое мнение, трезво мыслящего. Тот, конечно, никогда такого бы не сказал. Все шло очень трудно, на грани третьей мировой войны.

Я не мог даже вернуться из Гаваны в Москву, когда Хрущев сообщил телеграммой о смерти Ашхен. Она уже долго болела. Врачи так боялись за ее сердце, что не давали ей вставать. А потом она уже и сама не могла вставать, тем более ходить. Была бледная как полотно, ей постоянно не хватало воздуха, даже когда окно было открыто, а жили мы на даче, воздух был прекрасный. Сейчас я понимаю, что врачи были не правы. Она еще больше ослабла оттого, что не вставала и тем более не ходила. Развилась сердечная недостаточность. Она слабела на глазах.

Мне пришлось три недели потом уговаривать Фиделя не саботировать соглашение Хрущева — Кеннеди. А он вполне в силах был это сделать, и тогда нам было бы еще труднее вылезать из этой истории. Но все кончилось без войны и без каких-либо серьезных конфронтаций в других районах мира. Пожалуй, никогда раньше мы не были так близки к третьей мировой войне.

Даже получился некоторый выигрыш для советско-американских отношений в целом. Стало ясно, что продолжение конфронтации сулит большие опасности. Можно было развить этот сдвиг в мышлении и идти к разрядке.

Вообще, крайности мешали многим хорошим начинаниям Хрущева. Даже в десталинизации он допустил ошибки, которые ослабили его позицию. Например, эта фраза, что «Сталин руководил военными действиями по глобусу»[5], абсолютно не верна. Глобус стоял вообще в другой комнате, я его только два раза и видел: когда Япония напала на Перл-Харбор в декабре 1941 г. и еще по какому-то случаю. Сталин следил за военными действиями по картам Генштаба. Кроме того, ему специально сделали карту, которую он носил за голенищем сапога. Такая синяя карта была, он ее доставал, делал пометки, вносил изменения и засовывал обратно. (Правда, непонятно, почему в сапоге. Видимо, крестьянская привычка, еще из Гори или из деревни в Сибири, из ссылки.) Другое дело, что он часто дезорганизовывал работу Генштаба, отправляя Василевского на несколько недель на фронт, что не вызывалось необходимостью, но оставляло Генштаб без этого прекрасного маршала. Начальник Генштаба может два-три дня провести на каком-либо фронте, но больше всего нужно его присутствие в Ставке. Василевский был порядочным, спокойным, умным. Только, может быть, слишком мягким со Сталиным, недостаточно решительно противостоявшим сталинским капризам вроде «Не отступать!» или «Взять к такому-то числу!».

После 1953 г. председателем КГБ (вместо МГБ)[6] стал Серов. Хрущев долго питал слабость к нему и не хотел его убирать, хотя Серов был заместителем Берия и вообще прошлые дела его компрометировали настолько, что подрывали доверие к новым веяниям в КГБ, которые Хрущев старался поощрить. Отправляя партийных и комсомольских работников в КГБ, чтобы изменить атмосферу в этой организации, Хрущев сам же сделал Серова председателем. С годами разоблачение репрессий делало Серова еще более одиозной фигурой, невозможно было уже его держать. Я Хрущеву об этом говорил. Думаю, он догадывался, что это всеобщее мнение. Но их дружба домами началась еще в то время, когда Серов был наркомом внутренних дел Украины.

Помимо личных отношений играло роль, видимо, и другое обстоятельство. Когда я настаивал на снятии Серова, Хрущев защищал его, говоря, что тот «не усердствовал, действовал умеренно». Конечно, это звучало неубедительно. Скорее всего, поскольку Хрущеву самому приходилось санкционировать аресты многих людей, он склонен был не поднимать шума о прошлом Серова. Это возможно, хотя точно сказать не могу.

Серов знал, что я против него. Он искал опоры у Игнатова, секретаря ЦК, имевшего тогда влияние на Хрущева, да и Игнатов искал сближения с Серовым. Игнатов сам рвался к реальной власти, хотел Хрущева свести к положению английской королевы. В этом Игнатову препятствовали сначала Кириченко, потом Козлов. Кириченко такой цели не ставил, но Игнатову тоже не хотел давать хода. А Козлов рассуждал точно так же, как и Игнатов, только главную роль отводил себе: «Пусть он ездит по всему миру, а мы будем управлять».

Именно Кириченко помог убрать Серова. Это было очень трудно. Насколько Хрущев стоял за Серова, видно из следующей скандальной истории. Шверник представил ему документы о том, что Серов награбил в Германии имущества чуть ли не на 2 млн марок — не помню точно. Потом я узнал, что эти материалы раскопала Шатуновская. Она сама мне рассказала. Шверник не знал об интригах. Он был честный человек, немного наивный, правда. Но даже после этого Хрущев упрямился. «Нельзя, — говорит, — устраивать шум. Ведь многие генералы были в этом грешны во время войны» (а Шверник подготовил проект решения об исключении Серова из партии). Я ему говорю: «Хорошо, не устраивай шум. Но хотя бы надо снять с этой работы. Нельзя терпеть вора на должности министра, да еще такого». Но Хрущев все-таки не уступал. Тут и Игнатов сыграл свою роль, поддерживая Серова против меня.

Но Кириченко, хоть и не очень одаренный, но порядочный, хороший человек, однажды прямо при Игнатове выразил удивление, что тот часто общается с Серовым, хотя по работе у них точек соприкосновения практически нет, так как председатель КГБ выходил прямо на первого секретаря — Хрущева. Речь шла о том, что Серов часто в рабочее время приезжает в кабинет Игнатова. «Конечно, это не криминал, — заметил Кириченко. — Просто как-то непонятно, несколько раз искал Серова и находил его по телефону у тебя». Игнатов стал утверждать, что ничего подобного не было, что он с Серовым не общается. В этот раз прошло без последствий, хотя само такое яростное отрицание очевидного факта обычно выглядит хуже, чем сам факт.

Кириченко не успокоился и через некоторое время вернулся к этому вопросу уже при Хрущеве. «Как же ты говоришь, что не общаешься с Серовым? — спросил он Игнатова. — Я его сегодня искал, ответили, что он в ЦК, стали искать в Отделе административных органов — не нашли. В конечном итоге оказалось, что он был опять у тебя в кабинете». — «Нет, он у меня не был!» Тогда Кириченко называет фамилию человека, который по его поручению искал Серова и нашел его выходившим из кабинета Игнатова. Хрущев так искоса посмотрел на Игнатова, промолчал. Но все стало ясно.

Только после этого случая Хрущев согласился убрать Серова из КГБ. Перевели его в Генштаб начальником ГРУ. Эта должность не связана с политикой внутри страны. Но только после дела Пеньковского[7] удалось нам настоять на том, чтобы уменьшить его генеральский чин и убрать с большой работы.

Козлов и Игнатов вели борьбу друг против друга. Между прочим, я сначала к Игнатову хорошо относился: выходец из рабочих, ловкий и активный в работе. Но он оказался неисправимым интриганом с непомерными амбициями. Поэтому вначале Козлов старался заручиться моей поддержкой, дружить со мной, когда работали в Совете министров. Конечно, дружбы у нас с ним быть не могло.

Козлов был неумным человеком, просталински настроенным, реакционером, карьеристом и нечистоплотным к тому же. Интриги сразу заменили для него подлинную работу. Вскоре после того, как Хрущев перевел его в Москву из Ленинграда, выведя из-под острой критики и недовольства им Ленинградской партийной организации, роль Козлова, введенного в Президиум ЦК, стала возрастать. Он был большой подхалим. Видимо, разгадал в Хрущеве слабость к подхалимам, еще будучи в Ленинграде. Тогда-то Хрущев и сказал знаменитую фразу: «Не делайте из Козлова козла отпущения».

Между тем к нему были обоснованные претензии ленинградцев за его преследование тех лиц, которые уцелели в ходе «ленинградского дела» 1949–1950 гг.

Припоминаю эпизод, когда на Президиуме ЦК Козлов чуть не разрушил весь механизм СЭВа[8]. Однажды, незадолго до его инсульта, на Президиуме докладывал Архипов о СЭВе. Видимо, интригуя против меня (я курировал наше представительство в СЭВе), Козлов выступил очень резко против нашей деятельности в СЭВе. Конечно, не по существу, не конкретно, так как он не знал сути работы этой организации, да и знать не хотел. У меня тоже время от времени возникало неудовлетворение работой СЭВа, но я искал пути, как улучшить эту работу. Козлов же стал все огульно хаять, грубо обзывать Архипова, назвав дураком, что было недопустимо на официальном заседании. Более того, он предложил Хрущеву потребовать от социалистических стран Европы отказаться от правила единогласия в СЭВе и перейти к решению вопросов простым большинством, отменив право вето каждого из участников. Это был бы чрезвычайно опасный шаг: и так со стороны Польши, Румынии, Венгрии было недовольство навязыванием им определенных решений, а лишить их права вето означало бы пойти на риск прямого конфликта, саботажа деятельности СЭВа. Потенциально такой конфликт мог потянуть за собой и другие конфликты. Услышав такое, я решил опередить Хрущева — его реакция была непредсказуемой — и вмешался. «Это — суверенные государства, — сказал я. — Заставить их подчиняться большинству, которое мы, конечно, почти всегда себе обеспечим, значит посягнуть на их суверенитет. Мы уже имели события в Венгрии и Польше. Только право вето позволяет иметь СЭВ. Козлов не понимает простых вещей. Фрол, — сказал я, обращаясь уже непосредственно к нему, — ты называешь людей дураками, хотя в данном случае больше это слово относится к тебе самому». Я не на шутку рассердился, говорил очень горячо, сознательно пошел на грубость, чтобы защитить Архипова и спасти СЭВ, а Козлова поставить на место. Хрущев в такой обстановке уже не мог его поддержать — право вето в СЭВе было сохранено.

Тем не менее Хрущев продолжал называть Козлова своим преемником. Он абсолютно в нем не разобрался. Оставить Козлова в качестве первого человека было бы катастрофой для страны. Надеюсь, многие выступили бы против. Я бы сделал это первый. А если бы ему удалось добиться поста первого секретаря, я обязательно немедленно подал бы в отставку. Зная его, я хорошо представлял, насколько он был опасен: мог попытаться действовать сталинскими приемами без ума и силы Сталина и принес бы

много бед в любом случае. Он уже успел внести в Устав партии изменения, которые, по сути, гарантировали избрание в партийные комитеты любого непопулярного деятеля.

Показательно его поведение в Новочеркасске в 1962 г. Там произошли серьезные беспорядки. Хрущев решил туда послать нас обоих. Я не хотел ехать вдвоем. «Кто-то один должен ехать: или он, или я. Один человек должен решать на месте». — «Нет, вдвоем вы все обсудите, если что — доложите нам в Москву, а мы здесь уже будем решать». Я не привык уклоняться от трудных поручений и потому согласился. А вообще, теперь жалею, что не настоял на своем.

Прибыв в Новочеркасск и выяснив обстановку, я понял, что претензии рабочих были вполне справедливы и недовольство оправданно. Как раз вышло постановление о повышении цен на мясо и масло, а дурак-директор одновременно повысил нормы, на недовольство рабочих реагировал по-хамски, не желая с ними даже разговаривать. Действовал, как будто провокатор какой-то, оттого что не хватало ума и уважения к рабочим. В результате началась забастовка, которая приобрела политический характер. Город оказался в руках бастующих. Козлов стоял за проведение неоправданно жесткой линии.

Пока я ходил говорить с забастовщиками и выступал по радио, он названивал в Москву и сеял панику, требуя разрешения на применение оружия, и через Хрущева получил санкцию на это «в случае крайней необходимости». «Крайность» определял, конечно, Козлов.

Несколько человек было убито. Козлов распорядился даже подать два эшелона для массовой ссылки людей в Сибирь.

Позорный факт! Прямо в духе Ежова — Берии. Я это решительно отменил, и он не посмел возражать.

Почему Хрущев разрешил применить оружие? Он был крайне напуган тем, что, как сообщил КГБ, забастовщики послали своих людей в соседние промышленные центры. Да еще Козлов сгущал краски. Поэтому в соседние города были направлены другие члены руководства, Шелепин — в Донбасс, кажется, остальных не помню. Такая паника и такое преступление для Хрущева не типичны, виновен Козлов, который его так дезинформировал, что добился хотя и условного, но разрешения.

Вот такой человек был Фрол Козлов. Явно стремился к власти и в какой-то момент столкнулся на этом пути с Игнатовым.

На XXII съезде партии Хрущев по совету Козлова решил не включать группу Игнатова в Президиум ЦК. Тот рассказал Хрущеву, что есть такая группа: Игнатов, Аристов, Фурцева. Я под-

держал это предложение, хотя мне было жаль Фурцеву. Но невозможно было ее отделить: она была целиком с ними. Да и Аристов был неподходящий человек с большими претензиями. Правильно Брежнев позже убрал его из Польши и не включил в Президиум ЦК, на что тот, как я думаю, рассчитывал: не умел работать послом, проморгал все, что там происходило. Между прочим, он почему-то скрывал, что не русский, а татарин.

Когда Игнатов перестал для Козлова представлять опасность, он стал бороться против меня: я оставался последним, кто мог еще влиять на Хрущева. А цель Козлова была та же — свести Хрущева на чисто показную роль, все решать без него, за его спиной.

После XXII съезда Козлов видел главного противника во мне. Как я сказал, к Хрущеву он нашел подход подхалимством. Хрущев это любил. Козлов был ограниченный, но хитрый. Сговаривался с Хрущевым вдвоем. Иногда я ставлю какой-либо вопрос, а Хрущев говорит: «Мы с Козловым это уже обсудили и решили так». Это Козлов на этой стадии (после Суслова в 1950-х гг.) помешал опубликовать материалы, доказывающие неправильность процессов 1936–1938 гг., реабилитацию Бухарина и других. Документ был подготовлен и уже подписан Шверником, Шелепиным, Руденко. А он хитро подошел к Хрущеву. Вспомнил, как в 1956 г. французские коммунисты были в трудном положении. Им говорили: «Вы молились на Сталина. Теперь посмотрите, кто он был». Козлов внушал: «Отложим до лучших времен». — «До каких лучших? Нельзя дольше молчать», — возражал я. Когда я убеждал Хрущева наедине перед этим, он отвечал: «Вот Козлов считает, что надо подождать. И другие секретари считают, что большое недовольство будет среди коммунистов в Европе». Так и не согласился. А я понял, что Козлов уже договорился с Сусловым. Пономарев (заведующий международным отделом ЦК) вряд ли стал бы так отвечать Хрущеву, но противоречить Суслову он бы тоже не решился.

Конечно, жаль, что тот доклад XX съезду сразу же, без нашего ведома попал к американцам[9]. И они его «раскрутили». Мы бы провели разъяснение так, как сочли наиболее правильным и наименее болезненным. Я до сих пор, когда вспоминаю, ругаю себя, что проголосовал за рассылку текста в правящие партии социалистических стран. Думаю — зачем так срочно? Им ведь здесь дали прочитать, рассказали. И из Польши документ попал на Запад. Голосование было опросом. Это вообще-то удобно. Пишешь «за» или «прошу обсудить». Но это и плохо потому, что иногда сомневаешься, колеблешься. При устном голосовании можешь сказать: «А стоит ли?» А тут, если просишь обсудить, надо иметь готовые аргументы, обоснование, альтернативное предложение. Так у ме-

ня и получилось. Вижу — все проголосовали за, даже такие, как Молотов, Каганович. Недолго думая, проголосовал за и я.

Я считал более важным последовательно проводить десталинизацию во многих направлениях у себя дома, в нашей стране. За границей постепенно бы сами разобрались. Вот как китайцы делают с образом Мао. А у нас как раз этот процесс натыкался на препятствия, да и сейчас еще дело полностью не доделано. Дело же не только в образе самого Сталина, а в сталинских порядках в партии, в обществе. Партийная жизнь даже еще не вернулась к нравам и нормам, к демократии времен Ленина. И неизвестно, возможно ли это теперь вообще достичь. Даже Брежнев, человек примитивный и несильный, сумел стать почти что диктатором, на него молятся, как на Сталина когда-то. А это ведь определяет обстановку во всем обществе.

А тогда, в 1950-х и даже 1960-х гг. встречалось и открытое сопротивление в расчете на откат назад. Пример — ход реабилитации в 1950-х гг., еще до XX съезда.

Хрущев ввел очень правильный порядок, когда в его отсутствие вели заседания и все текущие дела Президиума ЦК поочередно другие члены Президиума, а не просто какой-либо из секретарей ЦК. Два года это делал я, потом настал черед Кагановича. И вот до меня доходит информация, что реабилитация замедлилась. Я вызываю Руденко и спрашиваю: «Что происходит? У вас что, политика изменилась? Но политика ЦК не менялась». Он очень взволнованно говорит, очень откровенно (он был хороший человек, порядочный, но не очень-то самостоятельный и не из самого храброго десятка): «А вы знаете, Анастас Иванович, я был у Кагановича по делам реабилитации, а он мне сказал: "Сейчас ищут виновных в арестах. Но вы не думаете, что наступит время, когда начнут искать виновных в освобождении?" Вот я и подумал, что намечаются какие-то изменения». Я ему твердо заявил, что с полной ответственностью могу заверить: никто не менял политику ЦК, что это личные мысли Кагановича и надо продолжать работу по ускоренной реабилитации.

Возвращаюсь к Хрущеву. Он не любил статистику. Ему всегда делали выборку: низшие показатели, высшие показатели и т. д. Я же очень люблю статистику и до сих пор читаю и сообщения ЦСУ, и комментарии к ним, статистику в печати. Когда речь зашла у нас о новой Программе партии и туда предложили включить цифры, я протестовал. Цифры — не для программ. В программах, принятых раньше, только одна цифра — 8-часовой рабочий день (до него был 9-часовой). И не нужно. А тут записали 240 млн тонн стали. Зачем? Кому известно, что понадобится столько? Вот

у США огромные мощности недогружены: омертвленный капитал. Делали 100 млн т, сейчас делают 130. Больше им не надо. Зачем нам вкладывать гигантские средства в то, что, может, и не понадобится? Надо действовать по обстоятельствам.

Но Хрущев не отступал: «Это же не скоро, только к 1980 г.». Я так понял его, что он не рассчитывал дожить до конца периода «строительства коммунизма» и ему не так важно, реальные это цифры или нет. А в результате мы уже не выполняем заданий программы. Ему же был нужен эффект для народа. Он не понимал, что народ потребует выполнения или объяснения. Я понимаю — записать: «добиться производства высококачественного металла в количестве, полностью удовлетворяющем потребности» и т. д., но цифры?..

Легче было с формулировками Программы. Например, я предложил Пономареву изменить несколько формулировок по международным проблемам. Он, толковый в таких вопросах человек, сразу согласился. Я потом рассказал Хрущеву, и он легко согласился, даже не расспросив, какие конкретно формулировки мы изменили. В этом вопросе доверял мне, да и не считал это для себя важным.

Но вот никак не вышло у меня с формулировкой о роли партии. Там в проект вставили фразу о «постоянном росте руководящей роли партии». Вечно будет расти — так получалось. Почему должно быть так, если будет нормальное развитие общества? Партия должна контролировать, а не решать вопросы вместо других органов управления или общественных организаций. Нет, Хрущев этого не принимал. Руководящая роль партии — значит, все будет в руках у него и у каждого, кто придет на его место.

Теперь даже райисполком без райкома ничего не решает. Глупо! Так даже контролировать нельзя. Сказать — неправильное решение, ответят: «Куда же вы смотрели? Вы же сами утверждали». Свобода критики и исправления ошибок уменьшается, а ответственность за ошибки для партийных органов увеличивается. В общем, глупо.

Многое, что мне прочитали из американского издания мемуаров Хрущева, меня возмущает. Как можно говорить столько неправды? Зачем? Не понимаю и того, как он может говорить в этой книге: «Где они были при Зиновьеве, Бухарине и других?..» Это ведь, как бумеранг, бьет по нему самому, да еще сильнее, чем по нас. Мы были делегатами съездов, членами ЦК, я был секретарем крайкома. На пост наркома меня рекомендовал сам Каменев, подавший в отставку. Так я стал и кандидатом в члены политбюро. Членом стал в 1935 г., после смерти Куйбышева, убийства Кирова,

но до арестов членов политбюро. А Хрущев ведь сделал карьеру в Москве за два-три года. Почему? Потому что всех пересажали. Ему помогла выдвинуться Алиллуева — она его знала по Промакадемии, где он активно боролся с оппозицией. Вот тут он и стал секретарем райкома, горкома, попал в ЦК. Он шел по трупам.

Хотя с Хрущевым было трудно, но все же я был искренне огорчен его отстранением. Все-таки он гораздо больше понимал, чем Брежнев, в политике, имел больший политический опыт работы в политбюро. Наконец, его военный опыт на высокой должности члена Военного совета фронта был гораздо весомее, чем у Брежнева. Притом он был активным членом Военного совета, не то что некоторые. И вообще он болел за дело, был активным, твердым, когда надо было.

Видимо, «слава» Хрущева как непредсказуемого человека и сложившаяся вокруг него обстановка и помогли в Президиуме ЦК тем, кто решил его отстранить. Раньше это были почти все его люди. Но он и не сознавал, что они уже перестали быть «его людьми». У них же было другое беспокойство. Отнюдь не государственные соображения были для них решающими, а сугубо личные: они стали бояться изменчивости лидера — боялись за свои посты, чувствовали неуверенность, будучи целиком зависимы от его капризов и настроения. Поэтому и решились его убрать. Они были не храброго десятка, особенно сам Брежнев. Теперь я думаю, Хрущев сам их спровоцировал, пообещав после отпуска внести предложение об омоложении Президиума ЦК. Даже при наличии заговора они, возможно, долго бы еще не решились его реализовать, поскольку Брежнев был трусоват, как и Суслов. Косыгин же был не из их команды. Но некоторые и так рвались в бой, как, например, Игнатов, стремившийся вернуться в Президиум ЦК.

Мы собирались в Пицунду, когда сын Хрущева Сергей рассказал о заговоре со слов одного чекиста при Игнатове. Хрущев известие не принял всерьез, и, уж конечно, не стал из-за этого откладывать свой отпуск. Он на всякий случай поручил мне встретиться с этим чекистом и улетел отдыхать. Я должен был лететь туда же через несколько дней. Ни один из нас не принял достаточно серьезно рассказ чекиста. Вернее, я, выслушав его, понимал, что человек этот честный и говорит то, что думает. Но было и впечатление, что он может все сильно преувеличить. Большинство фактов — мелкие, недостаточно убедительные. Слова Игнатова о тех или иных людях были неопределенные — «хороший человек», «нехороший человек». Ругань в адрес Хрущева понятна, имея в виду амбициозность Игнатова и тот факт, что Хрущев не ввел его в Президиум ЦК, а надежды на приближение к власти у того всегда были. С другой

стороны, от Игнатова можно было всего ожидать. Но все остальные? Хрущев еще в Москве, до отъезда в Пицунду, сказал мне, что не верит в участие в «заговоре» Шелепина и Семичастного; не верит, что Воронов мог объединиться с Брежневым — они друг друга ненавидели; Суслова он вообще идеализировал. Похоже, он принимал подхалимаж всерьез и не верил, что люди, поставленные им так высоко, способны против него пойти.

Я их хуже знал. Он же лет двадцать со многими из них работал до того, как поднять их в руководство партией. Если он им больше верит, чем этому чекисту, почему я должен меньше верить? Поговорив с чекистом, я все еще не имел твердого мнения, прав ли он или заблуждается. Решил в Пицунде оставить на усмотрение Хрущева. Все равно мне делать было нечего по этому вопросу, он мне только поручил выслушать, никаких особых полномочий, естественно, не дал.

Прилетел я в Пицунду дня через три после него. Но он и там всерьез не думал об этом деле. Правда, он спрашивал некоторых людей, которых чекист называл участниками заговора, верны ли эти слухи: Подгорного — еще в Москве, Воробьева, встречавшего его в Адлере, и др. Все, конечно, отрицали. И мы с ним спокойно отдыхали, гуляли в чудесном реликтовом сосновом лесу, купались в бассейне. В такой обстановке у нас с ним обычно налаживались хорошие, доверительные отношения, с ним можно было обо всем говорить. Слушал, обсуждал спокойно.

И вдруг звонит Брежнев, вызывает в Москву на пленум по сельскому хозяйству, запланированный на более поздние сроки.

Сначала Хрущев недоумевал. Потом, повесив трубку, сказал: «Сельское хозяйство здесь ни при чем. Это они хотят обо мне поставить вопрос. Ну, если они все против меня, я бороться не буду». Я сказал: «Правильно». Потому что как бороться, если большинство против него? Силу применять? Арестовывать? Не то время, не та атмосфера, да и вообще такие методы уже не годились. Выхода не было.

Прилетели. Сначала был разговор в Президиуме ЦК. Кроме серьезных обвинений были и чепуховые: сына, мол, сделал доктором наук и Героем Социалистического Труда. Конечно, я бы никогда такому делу не протежировал. Уверен, что и Хрущев этого не делал. Просто подхалимы делали, а он не возражал. Кстати, оказалось, что сын его — кандидат наук, а не доктор. Это Шелепин придумал. Обвиняли еще, что взял у Насера в Египте в подарок пять автомашин. Я лично такие подарки отдавал в клуб завода «Красный пролетарий». Подарки из Японии передал в Музей восточных культур. Но у Хрущева сохранилось что-то крестьян-

ское — он эти подарки себе и семье своей оставлял, тем более что общего положения на этот счет не было, и я поступал по традициям 20-х гг., когда крупные подарки не принято было принимать и оставлять себе. Но все-таки это не политический вопрос, а чисто бытовой. И норм никаких не было, какие он бы нарушил.

Я заступался за Хрущева из политических соображений. Но такие ретивые, как, например, Демичев, даже пытались мне угрожать. Демичев сказал что-то вроде: «Если вы будете защищать Хрущева, мы и о вас поставим вопрос». Я его резко одернул, ответив, что, когда обсуждаются важные политические вопросы, я не думаю о своих личных интересах.

Уже когда обсуждение шло без присутствия Хрущева, видя, что вопрос о его освобождении с поста первого секретаря окончательно решен, я предложил сохранить его на посту Председателя Совета министров хотя бы на год, а там видно будет. Я имел в виду, что можно использовать его политический капитал во всем мире, его положительные качества и правильное отношение к десталинизации, но лишив возможности быть почти что полным диктатором, и таким образом иметь возможность противостоять его страсти к неоправданной административной чехарде.

Между прочим, Брежнев сказал, что это предложение он понимает и его можно было бы принять, если бы не характер Никиты Сергеевича. Его поддержали: очень уж они боялись его решительности и неуемности. Только жизнь Хрущева дома и на даче, да еще под надзором КГБ, их устраивала.